

Метафизическая социология

Социология с обрубленными «метафизическими крыльями»

Достоевский не был криминологом в прямом смысле этого слова, но его мысли, наблюдения, идеи, касающиеся природы преступления и личности преступника, всегда привлекали самое пристальное внимание специалистов — юристов, психологов, социологов. При этом его идеи нередко включались российскими и западными теоретиками в ограниченные семантические пространства рассудочных построений и лишались присущей многим из них внутренней антиномичности. Помещаемые в позитивистки ограниченные социологические схемы, они чаще всего обретали упрощенный характер и уже не высвечивали истинной сути того, что составляет содержание и смысл феномена преступления.

Между тем Достоевский был глубоко убежден в том, что в преступлении как таковом, всегда присутствует нечто загадочное и таинственное, непроницаемое для рассудочных усилий научно-теоретического анализа. Именно это обстоятельство делает совершенно необходимым не просто философский подход к преступлению (который может быть при этом и позитивистским), а именно метафизический взгляд, когда, как мудро заметил один из тонких ценителей творчества Достоевского философ С.Л. Франк, «непостижимое постигается через постижение его непостижимости».⁷

⁷ Франк С.Л. Соч. М., 1990. С. 559.

К феномену преступления всегда возможны разные исследовательские подходы, в том числе социологический и метафизический. В классической традиции, идущей от Платона, оба эти подхода-метода существовали в неразрывном единстве. Спустя два тысячелетия Европа нового времени с характерным для ее культуры неуклонным «разволшебствлением» мира и экспансией просветительского рационализма стала свидетелем разделения прежде единого познавательного метода на два самостоятельных.

В XIX столетии старший современник Достоевского, создатель позитивистской философии О. Конт предпринял усилия по освобождению социального знания от метафизических компонентов. В результате вместе с позитивистским методом возникла социология в ее современном понимании. Молодая научная дисциплина оказалась отмечена печатью нарождающегося модерна с характерной для него логикой «разбегающейся вселенной» смыслов, норм и ценностей, с установкой на резкий разрыв с классическими культурными традициями.

Социологический метод, вырвавший социальную жизнь из контекста метафизической реальности, пошел по пути принципиальной редукции своего предмета, чем не замедлил обнаружить свою ограниченность.

Теоретические рассуждения ученых-социологов разворачивались, как правило, исключительно в русле логики действия механизмов социальной детерминации. Согласно этой логике, определенные социальные причины вели к появлению тех или иных социальных фактов и обстоятельств, которые, в свою очередь, порождали генерации новых социальных следствий. Последние сами становились причинами новых социальных обстоятельств и т.д.

Эта методологическая схематика почти сразу стала оборачиваться объяснениями известного через известное,

тиражированием либо рационалистически оформленных трюизмов, либо тенденциозных фактографических подборок, подчиненных определенным идеологическим установкам. Для Достоевского ее конкретным воплощением выступала теория среды, которую он не мог принять ни как мыслитель, ни как художник.

С середины XIX века за социологией закрепляется образ рассудочной дисциплины, довольно суховатой, пронизанной духом «фактопоклонства» и откровенно прагматичной. Западное сознание, склонное к рассудочности и прагматизму, достаточно спокойно восприняло подобный образ молодой науки. В русской же культуре отношение к ней не было столь однозначным. Периоды пылкой апологетики и истовой веры во всемогущество социологического знания чередовались с периодами охлаждений и разочарований.

Достоевский демонстрирует своим литературно-философским творчеством оба эти умонастроения. При всей симпатии к социологии он ясно видит, кроме преимуществ, также и слабости социологического метода. Для него был неприемлем западный подход, приведший к тому, что у социальной мысли оказались обрублены «метафизические крылья», в результате чего она стала совершенно неспособна к «метафизическим взлетам». Он видел бессилие социологии и ее «логарифмов» там, где требовалось проникнуть в глубинную суть сложнейших форм социального бытия, связанных с жизнью религиозного и нравственного духа, с трагическими коллизиями самоубийств, уголовных и политических преступлений.

Социальные факты в двойном ракурсе

Широта миропонимания Достоевского проявилась в том, что для него социологический и метафизический подходы к проблеме преступления выступили как разные, но отнюдь не противоположные, не взаимоисключающие методы.

При построении объяснительных моделей Достоевский-социолог выявлял те или иные социальные детерминанты. Но метафизик внутри него заставлял писателя-исследователя устремляться за пределы социальной реальности — туда, где, по его предположениям, могли пребывать сверхфизические первопричины физических и социальных причин. В итоге один и тот же социальный факт мог быть рассмотрен не в двух разных познавательных ракурсах, а в одном — сдвоенном, а по сути, едином.

Известно, что те вопросы, о которых любят рассуждать «русские мальчики» Достоевского, имеют две ипостаси — социологическую и метафизическую. С социологической точки зрения они выглядят как вопросы о социализме, анархизме, социальной переделке человека, влиянии среды, а с метафизической — как вопросы о Боге и бессмертии души.

Писатель, с большим вниманием относившийся и к социологии и к метафизике, оставил немало тонких замечаний и глубоких суждений касательно их познавательных возможностей. «Для иного наблюдателя, — писал он, — явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается и даже нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, — он

прибегает к другому рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо лишь одно насущное, видимо — текущее, да и то понаглядке, а концы и начала — это все еще пока для человека фантастическое»(23, 144–145).

Ищущий разум человека способен теряться как перед ведущей в тупик ограниченностью социологического метода, так и перед очевидной недосыгаемостью истины, даже если пытается использовать средства метафизики. В итоге он может оказаться в когнитивной ловушке, чреватой для иных настоящими экзистенциальными катастрофами, в том числе самоубийствами. И здесь становится понятна позиция тех, «кому миллиона не надо, а надобно мысль разрешить». Там, где цена истины приравнивается к цене жизни, миллион выглядит пустяком, которым не трудно пожертвовать ради истины. Именно так смотрит на вещи Иван Карамазов, социолог и метафизик в одном лице.

Зло как предмет социологического анализа

В главах «Братья знакомятся», «Бунт» и «Великий Инквизитор» Иван Карамазов, бывший до этого для читателя «загадкой», «сфинксом», впускает в свой закрытый от всех внутренний мир брата Алешу. При этом он выступает одновременно в трех интеллектуальных, творческих ипостасях — как социолог (собиратель «хорошей коллекции» социальных фактов, характеризующих состояние нравов), литератор (сочинитель поэмы «Великий Инквизитор») и

философ-метафизик, задающийся «вечными», неразрешимыми, «проклятыми» вопросами бытия.

В Иване проступает что-то от Мишеля Монтеня. Он также раздваивается между ренессансной антроподицеей и барочной теодицеей. И, подобно Монтеню, очень любит собирать разные любопытные случаи, истории, курьезы, чтобы затем на их основе выстраивать свои обобщающие, философские суждения.

В Ивановых «Опытах», в его социологической «коллекции» три раздела: а) факты азиатского происхождения; б) свидетельства, почерпнутые у изданных в Европе хроник, брошюр и газет; в) так называемые «русизмы» — факты из отечественной действительности. Все они свидетельствуют об одном — необычайной, превосходящей всякие пределы жестокости и кровожадности человеческого существа.

Иван приводит из азиатской и европейской социальной жизни по одному красноречивому факту — о чудовищной жестокости турок в Болгарии, зверски терзавших грудных младенцев, и историю темного, полудикого, неграмотного убийцы Ришара, который в швейцарской тюрьме за то время, пока велось следствие, был обучен грамоте, обращен в христианство, осыпан многими благотворительными милостями, а затем гильотинирован на площади в центре просвещенной Женевы.

Далее следует подборка из четырех «русизмов». Первый взят Иваном из стихотворения Некрасова о том, как мужик сечет, пьянея от разгорающейся ярости, слабосильную, завязшую с тяжелым возом лошаденку по «плачущим, кротким глазам». Затем излагаются два факта из судебных хроник об истязании малолетних детей образованными родителями. И, наконец, последний приведенный Иваном факт почерпнут им из старого архивного сборника.

Это история о том, как генерал-помещик затравил гончими псами восьмилетнего мальчика.

К каким же выводам приходит наш социолог, собиратель всех этих любопытных «фактиков»? Их у него оказывается три. И показательно то, что в этих выводах его мысль, подобно птице в тесной клетке, бьется в кругу социальных детерминант и стремится вырваться за их пределы.

1. Природа человека такова, что даже цивилизация не в состоянии изменить ее к лучшему. Человек продолжает оставаться агрессивным и жестоким, каким он был в эпоху первобытного варварства. Разница между нецивилизованным русским и цивилизованным европейцем лишь в том, что жестокость последнего обставлена значительно большим количеством социальных условностей.

2. Если дьявол объективно не существует, а является лишь созданием человеческого воображения, то человек сотворил его по собственному образу и подобию.

3. Его даже затруднительно назвать выводом. Это, скорее, вопрошающая констатация, исполненная трагического недоумения: «Ничего не могу понять, для чего все так устроено». То есть почему на земле так много преступлений и страданий? Зачем люди их нарочно преумножают, терзая друг друга? Почему зло, а не добро определяет ход социальной жизни?

Непомерная жестокость людей по отношению к себе подобным, будучи непреложным фактом, тем не менее, не укладывается в сознании, не поддается рациональному объяснению и вызывает нравственный протест. В попытках понять ее смысл социологический рассудок заходит в тупик. Отсюда парадоксальное резюме Ивана-социолога: «Я ничего не понимаю... я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу остаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же

изменю факту, а я решил оставаться при факте...» (14, 222).

Эта тирада, произнесенная будто в бреду, чрезвычайно верно могла бы охарактеризовать положение позитивной западной социологической парадигмы с ее «фактопоклонством». Иван Карамазов, словно дельфийский оракул, пророчествует о судьбе социологической науки, остающейся «при фактах». Для нее это одновременно путь спасения в настоящем и возможность гибели в будущем. Держась за факты, она сможет достаточно долго оставаться сама собой. Но, держась только за них, она рано или поздно перестанет что-либо понимать и давать сколь-нибудь удовлетворительные объяснения этим фактам. «Эвклидовский рассудок» позитивной социологии, нагруженный знанием множества социальных фактов и с готовностью отвечающий на вопросы: «что?», «где?», «когда?», «как?», неизменно будет теряться и тушеваться при обращаемых к нему вопросах «почему?», «зачем?», «во имя чего?».

Бессилие рассудочной социологии

Иван Карамазов с отвращением отбрасывает расхожие позитивистские объяснения, согласно которым все, в конечном счете, уравнивается и укладывается в общую логику поступательного движения вверх по лестнице прогресса. Для него неприемлема эта рассудочная «эвклидовская дичь», оправдывающая тот бесовский хаос, внутри которого существует человеческий род.

Его не удовлетворяют попытки объяснений, ссылающиеся исключительно на отрицательное влияние социальной среды. Если бы он брал только «русизмы», то их еще можно было бы попытаться объяснить с чисто социологических, детерминистских позиций, а именно — неблагопо-

лучной российской социальной действительностью. Кстати, именно таким образом объяснили главный «русизм» романа «Братья Карамазовы» — отцеубийство, прокурор Ипполит Кириллович и бывший семинарист Ракитин. Первый увидел в этом преступлении продукт разрушения традиционных для России социальных основ, а второй — следствие застарелых остатков крепостничества и результат современных социальных беспорядков.

Но Иван не случайно привлекает факты не только из российской, но также из европейской и азиатской действительности, берет примеры не только прошлого, но и настоящего. Он сознательно универсализует проблему, интересуясь не столько фактами самими по себе, сколько человеком как таковым, его сущностью. В русле этой универсализации никакие новые, дополнительные факты уже ничего не прибавляют. Неизбежно наступает момент, когда от фактов и от самой методологии «фактопоклонства» надо оторваться и сделать следующий шаг, предпринять новые усилия уже иного рода. И мысль Ивана осуществляет то, что можно сравнить с вертикальным взлетом: происходит преобразование социолога в метафизика. Заметно изменяется лексика «русского мальчика», и в центре разговора оказываются понятия, дотоле отсутствовавшие — Бог, вечность, Христос, горние силы, высшая гармония, искупление. И это несмотря на то, что перед Алешей сидит не клерикал-ретроград, а вчерашний выпускник естественного факультета столичного университета.

Социологический рассудок, или «эвклидов ум», как его называет Иван, не справляется с поставленной перед ним познавательно-объяснительной задачей. Не способный понять, почему все так несправедливо устроено и предлагающий какие-то свои «гнусненькие измышления», он терпит фиаско и отступает в тень. В игру вступает метафи-

зическое воображение. Теперь уже ему отводится роль первой скрипки.

Для Достоевского Иван Карамазов — истинно метафизический герой, всерьез разыгрывающий свою личную экзистенциально-метафизическую драму и отважно устремляющийся в максимально отдаленную от мелкой жизненной суеты область «последних вопросов».

Там, в этой области, все безмерно выше человеческого разума. Там можно лишь безоговорочно принимать то, что есть, полностью положиться на высшую премудрость Провидения. Для того, кто наталкивается на эти вопросы, лучше всего оставаться в пределах бессознательно-доверчивого отношения к устоям существующего миропорядка, пребывать в границах веры в высшую справедливость, которая на то и существует, чтобы, в конечном счете, поставить все на свои места и воздать каждому по его заслугам.

Но особый драматизм положения Ивана заключается в том, что он не способен ограничиться ни простым коллекционированием «фактиков», ни бездумно-покорной верой. Он не в состоянии ни остановиться на полпути, ни тем более вернуться назад в дорефлексивную спячку, ибо является по своей сути прирожденным мыслителем, для которого нет ничего важнее истины. Ему важно понять, как же совмещается благая премудрость творящего первоначала с той безмерной массой бессмысленных преступлений, которыми переполнена жизнь людей. Не поддающийся укрощению духовный порыв и дальнейший поиск заставляют Ивана ввести новый «эшелон» средств. Это метафизическое воображение, разворачивающее свои объяснительные возможности на пространствах сочиненной им поэмы «Великий Инквизитор».

Незаурядные художественно-философские способности Ивана позволяют ему найти новый ракурс в освещении проблемы насилия и преступности, которая перерастает в историософскую тему злокозненной судьбы человеческого рода.

Главный герой поэмы, испанский кардинал, убежден, что человек по своей природе низок, подвержен искушениям и соблазнам, легко склоняется к порокам и преступлениям и ему противопоказана свобода, поскольку он не способен употребить ее иначе, как во зло.

Реальность такова, что взгляды самого Ивана во многом совпадают со взглядами Великого инквизитора. Для них обоих люди — это в большинстве своем «недоделанные, пробные существа», которым свобода не по плечу. Однако изредка среди них встречаются отдельные экземпляры совсем иной породы — исключительно умные, обладающие незаурядной силой духа, волевые, властные, возвышающиеся над остальными и сознающие, что они владеют бесценным даром — свободой. При этом трагическая диалектика бытия отчего-то заставляет этих людей высшего разряда прислушиваться в первую очередь не к воззваниям Христа, а к коварному зову Искусителя, духа разрушения и гибели. Из-за этого свобода в их руках оборачивается вседозволенностью и преступлениями.

На протяжении романа Иван неоднократно высказывает довольно рискованные суждения, суть которых сводится к тому, что если мир, который он не приемлет, лежит во зле, и люди, населяющие его, погружены в это зло по самую макушку, то нет надобности рядиться в «белые одежды» святости и можно сознательно перейти на сторону умного и могущественного духа, т. е. Дьявола, как это сделал Великий Инквизитор.

Те страницы романа, где Иван излагает свое кредо, вряд ли можно отнести к образцам утешительного чтения. Впрочем, это естественно, если учитывать, что метафизическому умозрению изначально чужд пафос благонамеренного морализирования. Устремляясь вперед, оно уже не останавливается перед доводами охранительного благоразумия и готово рисковать, даже если ему грозит опасность быть обвиненным в имморализме. Этос метафизики заключается совсем в ином. Ей со времен Платона присущ взгляд на мышление как на духовный подвиг, чреватый возможными страданиями.

Бесстрашие метафизического умозрения

Иван Карамазов, а в его лице в первую очередь сам Достоевский, способны не просто «стоять в горизонте» героики метафизического риска, но и двигаться в нем все дальше и дальше. При этом автор посылает своего героя идти вперед до конца, до последнего предела, когда перед ним уже не останется ничего, кроме развершейся бездны некой отрицательной тотальности в виде «мыслепреступления». Исполненная дерзкого авантюризма, мысль Ивана не страшится бездны, поскольку там, в ее мраке благодаря метафизическому воображению ему мерещится призрак истины, убивающий страх перед падением в бездну.

Итак, что же прибавляется к исходным фактографическим посланкам Ивана Карамазова в результате перевода социологической тематики на метафизический уровень? Без сомнения, проблемы зла, насилия, природы преступления обретают дополнительную полноту освещения и глубину проработки, которую они вряд ли обрели бы, оставшись на социологическом уровне. Но главное, пожалуй, это то, что социологическая информация претерпевает ме-

тафизическую транскрипцию и обретает в итоге экзистенциальный, т. е. одновременно и глубоко личностный, и универсальный характер, позволяя герою Достоевского сформулировать благодаря этому свое жизненное кредо. Социальные факты, существовавшие прежде как бы сами по себе, оказываются включены в личную картину мира, а знание о человеке вообще становится знанием о себе и своем «я».

В точках соприкосновения социологии и метафизики обнаруживаются универсальные экзистенциалы, абсолютные ценности и высшие нравственные истины. Приближение сознания к полю их смыслов означает, что знания об отдельных социальных фактах накладываются на шкалу с пометками ценностных абсолютов. В итоге сами факты обретают дополнительный, дотоле неочевидный, метасоциологический смысл.

Такая шкала крайне необходима социальным наукам, искусству, литературе, всем формам культуры. Нужда в ней особенно остро ощущается в переходные эпохи, когда рушатся устоявшиеся системы ценностей, возникает шаткость оценок и нормативных представлений, и множество людей утрачивают способность отличить порок от добродетели, а преступление от доблести. Достоевский с горькой иронией писал о публицистах, имеющих дело с разнообразными социальными фактами, пишущих о них, но, по сути, не умеющих отличить в них добро от зла. По их мнению, главная задача состоит в том, чтобы писать «либерально» и «прогрессивно». «Но как написать либерально? — он уже и не знает, забыл... большая часть из них пишут наудачу, на всякий случай. Девочка воткнула булавку в голову другому ребенку, и вот находят, что это хорошо, потому что либерально: она протестовала против деспотизма. С фактами участвовавших самоубийств или

ужасного теперешнего пьянства они решительно не знают, что делать. Написать о них с отвращением и ужасом он не смеет рискнуть: а ну как выйдет нелиберально, и вот он передает, на всякий случай, зубоскаля» (21, 156).

Возможности сугубо социологического осмысления фактов нравственно-этического и уголовно-правового характера имеют, по-видимому, свои пределы. Существует, очевидно, такие рубежи в их понимании, на которые позитивистская социология никогда не сможет выдвинуться в силу своей отгороженности от сферы метафизических нормативно-ценностных абсолютов. Не случайно Ф. Ницше называл социологов «приспешниками фактов».

Этос социологии и метафизики

Пройдет несколько десятилетий после смерти Достоевского, на протяжении которых социологическая наука Запада и России не будет стоять на месте. И все же степень ее умения обращаться с морально-правовыми фактами, должным или, по крайней мере, удовлетворительным образом осмысливая их, практически не возрастет. В 1920 году П.А. Сорокин с грустью отметит, что из-за недостаточной развитости социологии человечество «до сих пор бессильно в борьбе с социальными бедствиями и не умеет утилизировать социально-психическую энергию, высшую из всех видов энергий. Мы не способны глупого делать умным, преступника — честным, безвольного — волевым существом. Часто мы не знаем, где «добро», где «зло», а если и знаем, то сплошь и рядом не способны бороться с «искушением».⁸

Неспособность поверхностной социографии отличать добро от зла — это не обязательно черта переходной исто-

⁸ Сорокин П.А. Система социологии. Т.1. Пг., 1920. С. 42.

рической эпохи. Нечто подобное может происходить с социологией и в относительно стабильные времена, если это периоды господства наследников великого инквизитора, делающих все, чтобы люди утратили высшие нравственные ориентиры, а с ними и представления об истинных целях своего существования.

В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «У нас есть, дескать, факты! Да ведь факты не все, по крайней мере, половина дела в том, как с фактами обращаться умешь!» (6, 106). Умение же обращаться с фактами социология получает от метасоциологии. А та, в свою очередь, может научиться этому только у метафизики.

Только на первый, весьма поверхностный взгляд может показаться, что метафизика бесполезна при решении конкретных жизненных и познавательных задач. Лишь неискушенному рассудку она представляется «надмирной», оторванной от всего сущего. В действительности же она практична по самому большому счету. Как заметил в начале XX века французский философ Ж. Маритэн, метафизика открывает человеку подлинные ценности в их истинной иерархии, помогает прочно стоять на земле, «поддерживает справедливый порядок в мире своего познания, обеспечивает естественные границы, гармонию и соподчинение различных наук. И это гораздо необходимее человеческому существу, чем самые роскошные цветы математики фенсменов. Ибо, какой смысл завоевать мир, но потерять истинную направленность разума».⁹

Вряд ли ищущая человеческая мысль не заинтересована в том, чтобы сохранять истинную направленность своих усилий и при этом отчетливо различать главные ценностные ориентиры. Метафизика стремится убедить разум в

⁹ *Маритэн Ж.* Метафизика и мистика // Путь. Париж, 1926. С. 69.

существовании вечного и абсолютного. Применительно к социологии это выглядит доказательством того, что в социальных фактах всегда есть нечто, выходящее за их пределы и вообще за пределы сугубо рассудочного понимания.

Достоевский ясно сознавал, что познавательные возможности социологии отнюдь не безграничны. И в те моменты, когда понимание этого становилось наиболее отчетливым и острым, внутри него рождалось чувство, похожее на то, которое Декарт называл «интеллектуальной печалью». Трудно предположить, чем бы эта печаль могла обернуться, если бы не интеллектуально-метафизическая интуиция, которая была развита у Достоевского в наивысшей степени. Именно она сообщала ему уверенность в том, что под покровом окружающей людей действительности скрыта иная реальность, не похожая на эту и что она более реальна, чем та, на поверхности которой лежат россыпи очевидных социальных фактов.

В отличие от позитивистски ориентированного социологического рассудка, сознательно идущего на разрыв с мифологией, религией, мистикой, интеллектуальная интуиция с ее способностью к метафизическому воображению не теряет с ними связи, выступая нередко в роли их преемницы.

Если язык социологического рассудка носит преимущественно денотативный характер, стремясь обнажать доступные ему социальные смыслы, то язык метафизической интуиции коннотативен и предполагает присутствие в тех же фактах словесно невыразимых подтекстов.

В отличие от благоразумно-осмотрительного рассудка, не пытающегося посягать на непостижимое, метафизическая интуиция стремиться помыслить немислимое и говорить о неизрекаемом. Ею движет убежденность в том, что

у морально-правовой реальности имеется, кроме очевидной, еще и другая, ненаблюдаемая, тайная жизнь, многомерная, имеющая свои начала в сверхкаузальном мире, откуда исходят высшие императивы, задающие людям совершенно определенные модели социального поведения.

Метафизика побуждает социологов, исследующих конкретные морально-правовые факты, воспринимать в качестве когнитивной нормы то нечто, что в этих фактах всегда обнаруживается, но выходит за пределы человеческого понимания. Это нечто — отблески абсолютного и вечного на относительном и преходящем. Это печать метафизической сверхреальности, которая значима для человека в той мере, в какой он способен посредством своих духовных усилий вообразить и помыслить ее.

Социологии не свойственно стремление прикасаться своим инструментарием к метафизическим первосущностям, подобно тому, как человеку незачем видеть Бога. Но как человеку непозволительно жить, забыв о высших первоначалах мирового бытия, так и социологии непозволительно существовать, открестившись от метафизического мира. Для нее гораздо приемлемее путь не рассудочного верхоглядства и плоского схематизма, а признание таинственности того, что происходит в глубинах социально-нравственной жизни общества и человека.

Для Достоевского было совершенно очевидно, что рассудок, вооруженный теоретическими «логарифмами», не сможет успешно исследовать такие острые морально-правовые проблемы, как падение нравов, пьянство, рост преступлений и самоубийств, если будет равнодушен к вопросам, касающимся метафизических оснований человеческого бытия.

Оказалось, что ограниченность социологического метода исследования жизненных реалий обусловлена самой

природой социологического познания. Во-первых, социология не претендует на нечто большее, чем иметь дело только с конечными, преходящими, относительными, пребывающими в конкретном времени-пространстве социальными феноменами. Во-вторых, она делает главную ставку прежде всего на способность человека к расчленению социальной реальности на элементы, фрагменты, уровни и последующим рассудочным умозаключениям на основе имеющихся эмпирических констатаций и разных по продолжительности наблюдений.

Социологический рассудок Достоевского всегда пребывал в хорошем рабочем состоянии и с готовностью фиксировал множество различных по своей значимости социальных фактов. Имея дело с очевидностями отдельных, «точечных» социальных феноменов и их совокупностей, т. е. с тем, что, конечно, преходяще, пребывает в пределах конкретных, локальных хронотопов, он легко обнаруживал в окружающей среде близлежащие социальные детерминанты. Но те выводы, которые предлагал социологический рассудок и которые напрашивались как бы сами собой, зачастую не удовлетворяли Достоевского. Они отталкивали его своей упрощенностью, приземленностью, банальностью, тем, что пребывали в плену самых плоских мировоззренческих стереотипов своего времени и места.

В гораздо большей степени Достоевского устраивали результаты интеллектуальных усилий *социологического разума*. Будучи более совершенным познавательным инструментом, он успешно структурировал социальную реальность в соответствии с первичными метафизическими принципами и осуществлял синтез результатов познавательных усилий социологического рассудка и интеллектуально-метафизической интуиции.

Остро ощущая недостаточность сугубо рациональных средств познания и объяснения сущего и должного, Достоевский с большим вниманием относился к тем познавательным средствам, которые существовали в контексте классической метафизики. Он понимал, что метафизика имеет дело в первую очередь с ноуменальным — бесконечным, вечным и абсолютным, пребывающим в социальных феноменах и просвечивающим сквозь них. Сам писатель обладал ярко выраженной способностью к метафизическому созерцанию и умозрению. Это позволяло ему воспринимать целостность метафизической сверхреальности, внутри которой социальная реальность пребывает всего лишь как один из ее частных модусов. При этом для Достоевского крайне важно то, что метафизические умозрения с необходимостью опираются на религиозно-этические основоположения о Боге, душе, судьбе, бессмертии и др., которые в принципе не верифицируемы и пребывают вне логики рассудочных доказательств и опровержений.

Достоевскому, как и его герою, Ивану Карамазову, оказались на протяжении всего творческого пути в равной мере необходимы оба метода постижения социоморальной реальности — и социологический и метафизический. Для него было важно соединить исследовательский интерес к имморально-криминальным фактам с вниманием к личным экзистенциалам и стоящим за ними нравственным абсолютам и метафизическим сущностям.

Социологическое и метафизическое воображение

Теоретическое воображение представляет собой способность творческого сознания к достраиванию связей между исследуемыми реалиями, а также между ними и авторским «я» до необходимой полноты. Там, где для по-

строения социологической модели какого-либо социального факта, явления, процесса не хватает уже существующих, готовых к использованию и ранее использовавшихся другими исследователями содержательно-структурных — смысловых, ценностных, нормативных и прочих — объяснительных компонентов, социолог вправе прибегнуть к компонентам воображаемым. То есть в любое место воздвигаемой концептуальной конструкции, будь то базовое каузальное основание или венчающие все сооружение семантические своды, вводятся блоки виртуальные, измышленные автором или заимствованные им из других культурных контекстов. Привнесение их туда, где их никто ранее в таком функциональном преломлении не использовал, — может считаться прямой заслугой творческого воображения исследователя.

Творческое воображение способно окрашивать интересующую исследователя реальность в те тона, каких она, сама по себе, не имеет. Оно выполняет важную функцию в моделировании морально-правовых коллизий, при выстраивании мысленных экспериментов. Вот всего лишь один характерный социальный факт. В петербургской ночлежке умер нищий, некий Соловьев. В его лохмотьях обнаружили огромную сумму денег — полмиллиона рублей, которые поступили на хранение в Управу благочиния. Его тело хотели вскрывать, чтобы удостовериться в том, что он — сумасшедший. Достоевский на этот счет высказывает свое мнение и утверждает, что Соловьев, конечно же, не был сумасшедшим и что подобные тайны вскрытиями не разъясняются. «Мне вдруг показалось, — пишет он, — что мой Соловьев лицо колоссальное. Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за ширмы. Что ему во всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт? Что ему за дело до этих лиц, до

этих лакеев, сидящих на каретах, до этих господ и госпож, сидящих внутри карет; до этих господ, катающихся на рысаках, и до этих господ, бредущих пешком, до этих очаровательных молодых людей, на лицах которых написана ненасытная жажда камелий и рублей серебром?.. Что ему за дело до этих камелий, Минн и Аманс?.. Нет, ничего ему не надо, у него все это есть, — там, под его подушкой, на которой наволочка еще с прошлого года. Пусть с прошлого года: он свистнет, и к нему послушно приползет все, что ему надо. Он захочет, и многие лица осчастливят его внимательной улыбкой. Вот вино — оно бы согрело его кровь, оно бы помогло ему, и даже недорогое вино... Не надо ему никакого. Он выше всех желаний...» (19, 73–74).

Творческое воображение Достоевского, оттолкнувшись от конкретного социального факта, поднимается на высоту уже не социологических, а философских обобщений, где возникает смыслообраз человека-оксюморона, нищего богача, человека-парадокса, человека-символа, соединившего в себе, казалось бы, несоединимое — страсть к деньгам и презрение ко всему, что они могут дать, вобравшего в себя полную меру возможного неразумия и столь же полную меру высшей мудрости.

Аналогичный взлет творческого воображения, только в более значительном, поистине грандиозном масштабе, имел место в истории создания романа «Бесы». Достоевский, находясь за границей и располагая лишь самыми общими сведениями о Нечаеве и убийстве Иванова, как бы заново сотворил всю коллизию, сконструировал жесткий причинно-следственный каркас многосложной фабулы и, кроме того, поместил все это в метафизический контекст, создав тем самым роман-пророчество.

Воображение имеет чрезвычайно важное значение там, где социология обнаруживает ограниченность своих по-

знавательных средств. Когда социологические построения наталкиваются на непреодолимые методологические препятствия в виде ограниченных возможностей принципа социального детерминизма, когда каузальный вектор намерен устремиться за пределы социальной реальности, но при этом обнаруживается нехватка сугубо социологического инструментария, на помощь приходит творческое воображение. Его природа, свойства, возможности оказываются существенно иными; теперь оно уже не столько социологическое, сколько метафизическое.

Метафизическое воображение, как правило, не рефлексивно и далеко не всегда связано с материалом непосредственных созерцаний. У него имеются свои цели и пути к ним, а также собственный предмет. Оно способно устремляться в особую, метафизическую реальность, сообщая своим связям с физическим миром и эмпирическим «я» весьма призрачный характер.

Если в пределах сугубо социологических, т. е. преимущественно рассудочных построений, воображение играет в основном вспомогательную роль, то при выходе на метафизический уровень его роль становится ведущей. Это предопределено различиями природы социологических и метафизических средств. Так, если социологию интересует прежде всего мир реального, то метафизике интересен еще и мир возможного (равно как и невозможного). Социология исследует социальные реалии, не имея при этом собственного органа воображения. Метафизика, обладая таким в виде интеллектуальной интуиции, формулирует собственные представления о сущностях тех или иных социальных реалий. Эти представления, или понятийные модели, суть плод вымысла, результат игры метафизического воображения самого мыслителя. Сугубо виртуальные, фантомные, фиктивные образования превращаются в ходе

мыслительного экспериментирования в концептуальные блоки будущих теоретических построений.

Плоды метафизического воображения имеют свойство обретать статус онтологом и превращаться в реалии такого уровня, которые реальнее всех социальных реалий, вместе взятых.

Социология с ее пристрастием к социальным фактам напоминает одновременно живопись импрессионистов-пуантилистов. То есть ей присущ интерес к «точечным» фактам и сиюминутным состояниям социальной среды и атмосферы. Метафизика же — это, скорее, нечто вроде постимпрессионизма, ибо она стремится разглядеть за социальными реалиями их метафизические сущности и обозначить их общие концептуальные контуры при помощи собственных мыслительно-изобразительных средств.

Когда позитивистски ориентированные социологи обвиняли Достоевского в метафизической умозрительности его отдельных социально-философских построений, то они, по сути, обрушивались на методологию метафизического воображения. Их не устраивало то, что мыслитель имел смелость поместить, допустим, феномен политического преступления в контекст, гораздо более широкий, чем социальность, что он вообразил и привлек для его объяснения возможные каузальные зависимости сверхсоциального характера.

Между тем умение соединить, синтезировать творческие потенциалы социологии и метафизики — одно из высших проявлений способности к социальному воображению. И Достоевский обладал этим умением в высшей степени. Он всегда искусно соотносил интересующие его социальные факты с метафизическими универсалиями, в результате чего и стал классиком фантастического реализма. Интерес к общезначимому позволял ему в ходе соци-

ально-художественного анализа воссоздавать не столько характеры, сколько типы. При этом в каждом из его типов отчетливо просматривалось как социальное, так и метафизическое содержание. В итоге социальные типы превращались в символы как смыслообразы универсальной значимости. Взаимно дополняя друг друга, их внутренние компоненты создавали эффект необычайной глубины постижения сущности отношений человека с социальным миром.

Можно сказать, что в лице Достоевского социология, успевшая было разорвать свои связи с метафизикой, вновь вспомнила о своем родстве с ней, осознала свое метафизическое первородство, открыла для себя, что ее истинное, первородное имя — не позитивная, а метафизическая социология.